

Глеб Иванович Успенский

**«Выпрямила»**



**Глеб Иванович Успенский**  
**«Выпрямила»**  
Серия «Кой про что», книга 14

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=666015](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666015)*

**Аннотация**

«...В очерке «Выпрямила» писатель показывает людей, «скомканных» как русской действительностью (крестьяне-новобранцы, народник Тяпушкин), так и западноевропейским капиталистическим строем, где царствует мнимая «правда», где «всё одно унижение, всё попрание в человеке человека». Но пафос «Выпрямила» – в мечте о лучшем будущем русского народа, о «выпрямленном» человеке, свободно трудящемся на своей земле, освобожденном от несправедливостей правительственных властей и «жестокостей» капитализма...»

# Содержание

I	4
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Глеб Иванович Успенский

## «Выпрямила»

(Отрывок из  
записок Тяпушкина)

### I

...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова<sup>1</sup>: «Венера Милосская<sup>2</sup> несомненное принципов восемьдесят девятого года»<sup>3</sup>. Что же значит это загадочное слово *несомненное*? Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли, наконец, что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

---

<sup>1</sup> ...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал... – Имеются в виду слова из рассказа И. С. Тургенева «Довольно. (Записки умершего художника)»: «Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права или принципов 89 года».

<sup>2</sup> Венера Милосская – древнегреческая статуя богини любви, найденная в 1820 году на острове Милосе.

<sup>3</sup> «...принципов восемьдесят девятого года», – Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», политический манифест французской буржуазной революции, выработанный Национальным собранием 4–27 августа 1789 года.

Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин<sup>4</sup>, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы – я, Тяпушкин, принципы и Венера – все мы одинаково *несомненны*, то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то, скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее

---

<sup>4</sup> Тяпушкин – герой цикла очерков «Волей-неволей» (1884).

настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, – человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., – я то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съестъ» чуть не каждый день, – именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой *линии*, которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым выростал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чутья Венера Милосская. А то, извольте видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, *только* мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините!..

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, – минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, – все, что я видел за предела-

ми этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

– Поезд стоит две минуты! – второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сы-

новья, братья, дядя – словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопившие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда... Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, представленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.

Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, – впечатление, привезенное мною из города, – слившись с этой «сущей правдой» де-

ревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастья, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастья вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» – подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастье» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда – и в сердце у меня шевельнулась какая-то

горячая капля, еще секунда – что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастья как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

– Что *это* такое? Откуда *это* счастье? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в *этом* роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к *тому* впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, – странное дело! – была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я од-

нажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, за-  
смотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила се-  
но; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми но-  
гами, красным повойником на маковке, с этими граблями в  
руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа нале-  
во, была так легка, изящна, так «жила», *а не работала*, жила  
в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим  
сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело  
и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее,  
думал и чувствовал только одно: «как хорошо!»

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, от-  
четливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез,  
дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солн-  
ца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на  
этом фоне – фигура девушки строгого, почти монашеского  
типа<sup>5</sup>. И эту девушку я видел также со стороны, но она оста-

---

<sup>5</sup> ...фигура девушки строгого, почти монашеского типа – собирательный об-  
раз революционерки. Создавая этот образ, Успенский имел в виду, в основном,  
В. Н. Фигнер, приговоренную в 1884 году к смертной казни, которая была за-  
менена двадцатилетним заключением. Это подтверждается упоминанием имени  
Фигнер в конспекте очерка «Венера Милосская», указанием на это А. И. Иван-  
чина-Писарева в его воспоминаниях об Успенском («Заветы», 1914, № 5) и сло-  
вами самой Фигнер в письме ее к А. В. Успенской от 25 ноября 1904 года, уже  
после смерти писателя: «...в 1884 г., во время суда, Глеб Иванович просил мою  
сестру передать мне, что он мне завидует... Глеб Иванович видел во мне – в эти  
минуты – цельного, нераздного человека, шедшего определенной дорогой,  
без колебаний, без оглядки... видел личность, у которой есть что-то заветное,  
ради чего отдает всё. Именно этой цельности, я думаю, он и завидовал» (В. Н.  
Фигнер, Собр. соч., т. VI, Письма, изд. политкаторжан, М., 1929).

вила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль – печаль *о не своем горе*, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личной, собственной ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну*, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, – что при одном взгляде на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым*, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений; но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал, наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что... вот уж близко... где-то здесь... еще немножко... Что это?

Хотите – верьте, хотите – нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенной печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало – в Лувре<sup>6</sup>, в той самой комнате, где стоит она, Венера Ми-

---

<sup>6</sup> *Лувр* – музей в Париже.

лосская... Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какую ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть *то*, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растёт», как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого*; ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

## II

...Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты, хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу.

Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое «ограниченное» мирозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким мирозерцанием. «Все-таки они посоветятся *ego!*» – вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время – куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: «А у нас, в России...» А за этой фразой следовало всегда что-нибудь

ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек. Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Только что кончились война и коммуна, и еще действовали... версальские суды...* – Речь идет о франко-прусской войне 1870–1871 годов и о Парижской Коммуне, образовавшейся 18 марта 1871 года. Контрреволюционное правительство Тьера обосновалось в Версале (город в 17 км от Парижа), отсюда и название – версальские суды, совершавшие в течение нескольких лет кровавую расправу над коммунарами после разгрома Парижской Коммуны в мае 1871 года.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.